



## Беззащитное существо

Как ни силен был ночью припадок подагры<sup>1</sup>, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе<sup>2</sup>, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский асессор<sup>3</sup> Щукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 коп.! За что? — спрашиваю. «А он, — говорят, — из товарищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превос-

---

<sup>1</sup> П о д а г р а — заболевание, вызывающее в типичных случаях болезненное опухание суставов.

<sup>2</sup> С а л о п (*истор.*) — широкое дамское пальто.

<sup>3</sup> К о л л е ж с к и й а с е с с о р — в России гражданский чин 8-го класса; чиновник.

ходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, незащищенная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в сапог за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяли! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвейчу, надоумил к вам сходить. «Вы, — говорит, — мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать...» Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом<sup>1</sup>.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте взглянуть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

---

<sup>1</sup> Флюс — воспаление десны, сопровождается припуханием ее.



— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» — да и все тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На моей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. — Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку<sup>1</sup>. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, — заплакала Щукина. — Я женщина незащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался...

— Нет, извините, я не могу с вами говорить, — сказал он и махнул рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

---

<sup>1</sup> П р о б и р н а я п а л а т к а — учреждение, где определяет-ся качество серебра и золота и ставятся пробные клейма.

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. — Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажуужал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый

мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень<sup>1</sup>...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец, постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что...

— Ну, нечего, нечего... — обиделась старуха. — Своей жене постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Твоих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах навалешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и, тоже красные, видимо замученные, растерянно переглядывались.

— Ваше превосходительство! — бросилась к Кистунову Щукина. — Вот этот, вот самый... вот этот... (она указала на Алексея Николаича) постучал себе паль-

---

<sup>1</sup> М и г р е н ь — повторяющиеся приступы острой головной боли, обычно односторонней и пульсирующей.

цем по лбу, а потом по столу... Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается! Я женщина слабая, беззащитная... Мой муж коллежский асессор, и сама я майорская дочь!

— Хорошо, сударыня, — простонал Кистунов, — я разберу... приму меры... Уходите... после!..

— А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны!

Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять:

— Сударыня, я уже вам говорил. Здесь банк, учреждение частное, коммерческое... Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете.

Щукина выслушала его и вздохнула.

— Так, так... — согласилась она. — Только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно бога молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу и из участка удостоверение представить... Прикажите выдать мне деньги!

У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул.

— Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом.

— 24 рубля 36 копеек.

Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной.

— Берите и... и уходите!

Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила:

— Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?

— Я уеду... болен... — сказал Кистунов томным голосом. — У меня страшное сердцебиение.

По отъезде его Алексей Николаич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу, а Щукина потом часа два еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов.

Приходила она и на другой день.

МИХАИЛ ПРИШВИН

## *В краю неуганных птиц*

Очерки Выговского края

### ВОПЛЕНИЦА

Кто никогда не бывал в не тронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна неуганных птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.



Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди.

Одна баба украла житную<sup>1</sup> муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках<sup>2</sup>, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже... все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись, у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами — матерые люди... Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа *порядового*.

---

<sup>1</sup> Ж и т н ы й — ячменный.

<sup>2</sup> Б у р л а к — рабочий, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке.

Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» — «Как же, как же, — скажут, — есть, есть, такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно *есть* в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна.

— Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Выг-озеру вопленица, плакальщица или подголосница.

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услышать, как женщина, увидев бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку, — несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких родных несомненны, а потому и плачи дают бога-

тый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются злоещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица — филин, ворон или сова — и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням — красной девушкой или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилоствовать, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золочена, и золотая казна, и гулярно цветно́ платице, и любимая скотинушка. Но смерть, или *судина*, не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани<sup>1</sup>, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом *домовице* или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся, легкие, свободные, как облака:

---

<sup>1</sup> Д л а н ь (церк.) — рука, ладонь.

«Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретааетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа, — говорит Барсов<sup>1</sup>, — выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или воплениц; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слово-выражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усваивают, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она по-

---

<sup>1</sup> Барсов Е. Причитания Северного края. (Предисловием этой прекрасной книги мы здесь и пользуемся.)

ведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такую ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов — радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

— Раз и мне пришлось его видеть.

— Ну, какой же он из себя?

— Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

— А где же ты его видела?

— Да в хлеву.

— Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порато вопела, что задрожить вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают — с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то невозможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась... вошел... идет

ближе, ближе... А шевельнуться не могу. Вижу, стоит... темно... разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял... Шерстно-ой!

— Шерстной, говоришь?!

— Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» — «Что с тобой, баит, дитяtko?» Заплакала я тут: «Не хочу, — говорю, — умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, — говорю, — умри за меня!» — «Рад бы, — говорит, — душка дорогая, рад, да это дело божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее *воп*, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пицат в трех зыбках<sup>1</sup>. Кажется — все... но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе, совершенно голенький; оглянулся — там еще и еще...

— Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой *воп* послушать, — сказал старик.

— Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать... И мне стало неловко... У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.

---

<sup>1</sup> Зыбк а (обл.) — колыбель, люлька.

Я оглянулся на старика — он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

— Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не могу...

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела...

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них:

### ПЛАЧ ВДОВЫ<sup>1</sup>

Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,  
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,  
Ко своей-то милой венчальной державушке.  
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:  
Уж по сегодняшнему господнему божьему денечку,  
Как по раннему утру утреному  
Вдруг заныло мое зяблое ретивое серденушко,  
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,  
Стрепенулась на крутом на складном сголовнице.  
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!

---

<sup>1</sup> Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выг-озеро, Карельский остров.

Как на раскат горе на высокой  
Там посажен сад, виноградье зеленое,  
Там построено теплое витое гнездышко,  
Там складены теплые кирпичные печенки,  
Там прорублено светлое косяцато окошечко;  
Там поставлены столы белодубовы,  
Там скипачены самоварчики луженые,  
Там налиты чашечки фарфоровы,  
Там дожидает тебя милая любимая семейюшка».  
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!  
Обманула меня, бедну вдову, горе горькое.  
Как на той на могилочке на умершей  
Не поставлено дивно хоромно строеньице.  
Там повыросла только белая березка кудрявая,  
Там не дожидает меня милая  
венчальная державушка:  
Видно, уж отпало желанье великое...

Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:  
Уж как порозольются быстрые, струистые реченьки,  
Уж пробегут эти мелки, мелки ручееченьки,  
Уж как порозольется славно широко озерушко,  
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечки,  
Я проторю путь торну широку дороженьку  
Я на раскат на гору на широкую  
Да ко той-то милой умершей семейюшке.  
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,  
Уж разнесите эти мелкие желтые песочки,  
Раскались и эта нова гробова доска,  
Раскалитесь, распахнитесь, белы саваны,  
Уж покажись, моя милая любимая семейюшка!  
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,  
Уж поразбавь, поразговори,  
самоцветный лазуревый камешек.  
Уж как придет темная зимняя ноченька,  
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,  
Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.



Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное —  
Пуще злее досаждают, одоляет

тоска-кручина великая.

Погляжу я в это светло косящато окошечко,

Как на эту раскатну гору на высокую:

Уж нейдет, не катится моя милая,

любимая семеюшка,

Уж, видно, так мне проживать-коротать

свою молодость,

Не порой пройдет, да не времечком,

А пройдет молодость горячими слезьми.

.....

Вопленицей, истолковательницей чужого горя,  
Максимовна сделалась не сразу.

Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, — говорит Максимовна, — от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выг-озерского погоста, на пожне<sup>1</sup>. Мать ее при этом случае ко-

---

<sup>1</sup> П о ж н я — сенокосное угодье.

сила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой крисотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала *плицей* набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, *штейницу*, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба; в особенности, если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить *Шишкó*! В этого Шишкó и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.

Раз был такой случай, рассказывает Максимовна. Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, — говорит, — девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та

отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишкó, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни — в каждой деревне свой праздник раз в год, — Степка всегда первая в хороводах, все песни она запекает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие *до-сюльные*, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слухок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слухка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услышал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услышал, сейчас же сел на лодку — и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняж-

ка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище Боровик.

— Если ты мной не брезгаешь, — сказал Гаврило, — останься до весны: меня тогда обязательно женьить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

— Не знаю, — сказала Степанида. — Если нам на этом остаться, мать не поверит... отдаст...

Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

— Знаю, — сказала мать, — на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу... зятек, зятек... а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я, враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят паужинают.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!

— Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

— Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

— Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются... Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы богу, что ли...

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью пошла мать:

— Ты чего не спишь?

— Да кусает, матушка.

— А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

— Боюсь.

— Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и *сяжно* было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, — сказали они, — думу подумать, вот родня сбегется».

И другой раз сходил сват. На третий привезли жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолвились богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Много, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она попела отцу:

Становилась подневольна косата голубушка  
На одну мостиночку дубовую...  
Уж не катитесь, мои горькие слезы горячие,  
По моему блеклу лицу, не румяному...

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей цветно платьице лазурево, «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощанье невеста вопит «легоньким вóпом»:

Отпустите на мою слезу слезливу на свадьбу;  
Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные,  
Из-под холодной из-под северной сторонушки...  
Раскатитесь, пенья, колодья валючии,  
И повыстань, моя красная, красивая подруженька...

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:

— Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живете?

— Просим милости, по́дьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

— Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно ли как поскорее?

— Ну, ладно, — отвечают им, — поноворите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косою красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,  
Как в ногах стоит страшная гора страховитая,  
А в головах стоит женское житье подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была несчастной. Наконец, водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу вольну волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: *красование*.

Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,  
Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку,  
Уж мне расстаться с моим дорогим  
привольным девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местеч-

ко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились наконец поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брюдга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тысяцкий постучал батожком<sup>1</sup> по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

— Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

— Есть в дороге, да пала погода, занесло дорогу по-рато.

Наконец, появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За невесту просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам — повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, так же как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здорова-

---

<sup>1</sup> Б а т о ж о к - б а т о г — толстый прут, посох, трость.



лись, обходили столы. Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у «князя» сапог, и он положил ей в него деньги...

Утром вытопили *байню*, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так — всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил, — говорили дальновидные люди, — не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но женки так и шипели: «Кончился лиходей наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,  
У ворот будешь приворотница,  
У замков будешь замочница,  
Во дому будешь большухою.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек — не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось... А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит, шесть ложек, а у нее только двое: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:

— Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

— А я не просила, — ответила меньшуха, — у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну — для себя.

— Вот, — сказала она, — тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

— Да как ты смеешь? Я тебя косою!

Но меньшуха, как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели паужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

— Начинай!

— Нет, ты начинай!

— Ну, тронь!

— Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит — в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охалку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.

Наконец решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки — все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали далее самые предовольные соседки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглотить.

Бывало, раньше кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства — и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала женка, стала его хворостинной стегать, а хозяйка за поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день.

Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна, «со умноженным со стадом со детинным». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

— И вот, — рассказывает теперь Максимовна, — когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрись и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я, — а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила, — и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволоком, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу — муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-то разум пришел, и одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила — страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим

на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ка стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и пáла. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирала, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выг-озере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе-горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

— Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? — осведомилась она. — Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече со Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

— Всякие жены есть, — сказала она, — хоть по мужу-то и порáто повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки.  
А молода жена до новá мужа.  
А родимая сестра плачет, как роса на траве».

## ПЕВЕЦ БЫЛИН

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был...

Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богатыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них *старыны*, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и *сказители* былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья — вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услышать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.

Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на

Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.

— Как же, как же! — отвечал он. — Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет... Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!

— А другие в вашей деревне знают старины? — спросил я.

— Не-ет, где нам! Рябинка — старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отстывает: что на какой день положено, то и ест, оттого он и памятливы. Он ни в чем от своего не отстывает. Вот когда его к государю возили, так что там наставлено было! Столы ломались. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, беседует, а ничего не трогает, ни-ни... Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин — сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.

Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения, или сказители теперь уже стали переводиться, но только на Выг-озере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую *досюлтцину* (старину) рассказать может».